

Библиотека Анархизма
Антикопирайт и инфоанархизм



Пётр Кропоткин: воспоминания и критика одного старого друга

Эррико Малатеста

15 апреля 1931

Опубликовано в «Studi Sociali», 15 апреля 1931

Пётр Кропоткин, без сомнения, один из тех, кто более всего способствовал – возможно, даже больше, чем Бакунин и Элизе Реклю, – разработке и распространению анархистской идеи. И потому он вполне заслужил признание и восхищение, которые все анархисты к нему питают.

Но во имя истины и в высших интересах дела следует признать, что его деятельность не была всецело благотворной. Это не его вина; напротив, именно исключительность его достоинств породила те беды, которые я намерен обсудить.

Разумеется, Кропоткин, будучи смертным среди смертных, не мог постоянно избегать ошибок и всегда верно постигать абсолютную истину. Следует быть благодарным за его неоценимый вклад и за продолжение поиска истины, ведущего к новым достижениям. Но его литературные

Эррико Малатеста
Пётр Кропоткин: воспоминания и критика одного старого
друга
15 апреля 1931

ru.anarchistlibraries.net

дарования, значительность и объём его трудов, его неутомимая деятельность, престиж, который он приобрёл как выдающийся учёный, тот факт, что он отказался от привилегированного положения, чтобы защищать народное дело ценой страданий и опасностей, а также обаяние его личности, приковывавшее внимание тех, кто имел счастье с ним встретиться, – всё это дало ему такую известность и такое влияние, что он предстал – и в значительной мере действительно был – признанным учителем большинства анархистов.

В результате критика ослабла, а развитие анархистской идеи застопорилось. В течение многих лет, несмотря на иконоборческий и прогрессивный дух анархистов, большинство из них в области теории и пропаганды лишь цитировали Кропоткина. Высказываться иначе, чем он, многие товарищи считали почти ересью.

Поэтому было бы уместно подвергнуть учение Кропоткина тщательному и критическому анализу, чтобы отделить вечно живое и истинное от того, что он думал в более поздние времена и что опыт доказал как ошибочное. Вопрос этот касается не только Кропоткина, ибо ошибки, в которых его можно упрекнуть, исповедовались анархистами ещё до того, как Кропоткин занял своё видное место в движении: он их подтвердил и затем придал им вес своего таланта и престижа; но каждый из старых бойцов, или почти каждый, несёт свою долю ответственности.

Сейчас, когда я пишу о Кропоткине, у меня нет намерения разбирать его учение. Я хочу лишь поделиться некоторыми впечатлениями и воспоминаниями – они, как мне кажется, помогут лучше узнать его моральный и интеллектуальный облик и яснее понять его достоинства и недостатки.

ствительности, не предвидя трудностей и не готовясь к ним... и из-за этого мы оказывались бессильными даже тогда, когда была возможность эффективного действия.

Пусть ошибки прошлого послужат нам уроком делать лучше в будущем.

Я сказал то, что должен был сказать.

Не думаю, что моя критика в его адрес может умалить Кропоткина, – человека, который остаётся, несмотря ни на что, одним из ярких светочей нашего движения.

Если она справедлива, она послужит доказательством того, что никто не свободен от ошибок, даже когда он наделён умом и великодушным сердцем Кропоткина.

В любом случае анархисты всегда найдут в его сочинениях сокровищницу плодотворных идей, а в его жизни – пример и стимул в борьбе за всё хорошее.

Но прежде всего я скажу несколько слов, идущих от сердца, ибо не могу думать о Кропоткине без волнения при воспоминании о его безмерной доброте. Помню, что он сделал в Женеве зимой 1879 года, чтобы помочь группе итальянских беженцев в отчаянном положении, среди которых был и я; помню мелкие заботы, которые я назвал бы материнскими, что он проявил ко мне однажды ночью в Лондоне, когда я, став жертвой несчастного случая, постучал в его дверь; помню бесчисленные поступки для самых разных людей, помню сердечную атмосферу, которая его окружала. Потому что он был очень добрым человеком – добрым почти бессознательно. Такая доброта заново переживает каждое страдание и нуждается в том, чтобы вокруг были улыбки и счастье. Даже не зная его, можно было бы сказать, что он действительно добрый человек. Но, так или иначе, ему не нравилось, когда об этом говорили, и он обиделся, когда я в статье к его 70-летию написал, что доброта – главное из его качеств. Он скорее хвастался своей энергией и храбростью, возможно, потому что эти качества утвердились в борьбе и для борьбы, тогда как доброта была спонтанным выражением его внутренней природы.

Я имел честь и счастье долгие годы быть связанным с Кропоткиным самой сердечной дружбой.

Мы ценили друг друга, потому что были вдохновлены одной страстью, одними надеждами... и одними иллюзиями.

Оба мы были оптимистами по темпераменту (думаю, однако, что оптимизм Кропоткина намного превосходил мой и, возможно, имел иной источник) и оба смотрели на вещи сквозь розовые очки, увы! Всё казалось столь многообещающим – тогда ожидали, и более чем пятьдесят лет

назад, революцию, которая свершится в ближайшем будущем и осуществит наш социальный идеал. За эти долгие годы были периоды сомнений и уныния. Помню, однажды Кропоткин сказал мне: *«Дорогой мой Эррико, боюсь, что мы с тобой одни верим в революцию, которая уже почти в наших руках»*. Но настроения проходили, и вскоре возвращалась уверенность; тогда мы объясняли существующие трудности и скептицизм товарищей и продолжали работать и надеяться.

Однако не следует думать, что по всем вопросам мы разделяли одни мнения. Напротив, во многих мы были очень далеки от согласия, и почти всякий раз, когда встречались, у нас были шумные и горячие споры; но так как Кропоткин всегда был уверен, что правда на его стороне, и не мог спокойно терпеть противоречие, а мы, с другой стороны, питали большое уважение к его эрудиции и глубокою заботу о его хрупком здоровье, эти споры всегда заканчивались сменой темы, чтобы избежать чрезмерного возбуждения.

Но это не угрожало близости наших отношений, потому что мы ценили друг друга и сотрудничали чувством, а не по интеллектуальным причинам. Каковы бы ни были наши разногласия в истолковании фактов или в аргументах, которыми мы оправдывали меры, на практике мы хотели одного и того же и были движимы одним и тем же сильным чувством к свободе, справедливости и довольству всего человечества. Поэтому мы могли идти вместе.

И действительно, между нами никогда не было серьезных разногласий до того дня 1914 года, когда мы столкнулись по вопросу практического пути, имевшему для обоих капитальную важность: об отношении анархистов к войне. В тот раз старые пристрастия Кропоткина ко всему русскому и французскому пробудились и обострились в нём, и он объявил себя восторженным сторонником Антанты.

Хотя верно, что закон природы есть гармония, я позволю себе предположить, что было бы правомерно спросить, почему природа ждала анархистов, чтобы родиться, и продолжает ждать их, чтобы восторжествовать, дабы уничтожить ужасные и разрушительные конфликты, которые человечество уже претерпело?

Не было бы ближе к истине сказать, что анархия есть борьба в человеческом обществе против диссонансов Природы?

Я подчеркнул две ошибки, которые, на мой взгляд, совершил Кропоткин, – его теорию фатализма и его чрезмерный оптимизм, – потому что, полагаю, наблюдал вредные результаты, которые они произвели в нашем движении.

Были товарищи, которые приняли фаталистическую теорию – стыдливо называемую детерминизмом – всерьёз, и в результате потеряли всякий революционный дух. Революция, говорили они, не произошла, но она совершится, когда для неё придет время, и бесполезно, ненаучно и даже смешно пытаться её вызвать. И, вооружившись такими вескими доводами, они удалились от дел и занялись своими собственными делами. Но было бы ошибкой думать, что это было оправданием для ухода из борьбы. Я знал многих товарищей большого мужества и отваги, которые подвергались большим опасностям и жертвовали своей свободой и даже жизнью во имя анархии, будучи убеждёнными в бесполезности своих действий. Они действовали из отвращения к нынешнему обществу, из чувства мести, из отчаяния или из любви к великому жесту, но не думая о служении делу революции, и, следовательно, не выбирая цель и момент, или не заботясь о согласовании своих действий с действиями других.

С другой стороны, те, кто, не заботясь о философии, хотели работать для революции и ради неё, представляли проблемы гораздо более простыми, чем они есть в дей-

мый утопический путь. И когда ему указывали, что такого накопления продуктов не может быть, потому что хозяева обычно позволяют производство лишь того, что могут продать с прибылью, и что, возможно, в начале революции необходимо будет организовать систему нормирования и настаивать на увеличении производства, вместо того чтобы прибегать к самообеспечению путём взятия всего необходимого со складов, которого в таком случае не будет, – Кропоткин принялся изучать проблему из первых рук и пришёл к выводу, что такого изобилия действительно нет и что некоторые страны постоянно находятся под угрозой дефицита. Но он вернул себе мысль о великих потенциальных возможностях сельского хозяйства с помощью науки. Он взял в качестве примеров результаты, полученные малоодарёнными фермерами и агрономами на ограниченных площадях, и указал на самые обнадеживающие выводы, не думая о трудностях, которые будут поставлены на пути невежеством и неприязнью крестьян ко всему новому, и что в любом случае потребуется много времени для достижения всеобщего принятия новых форм земледелия и распределения.

Как всегда, Кропоткин видел вещи такими, какими желал бы, чтобы они были, и какими мы все надеемся, что они станут однажды; он считал существующим или непосредственно осуществимым то, что должно быть завоёвано через долгую и кровавую борьбу.

В глубине души Кропоткин понимал природу как своего рода Провидение, благодаря которому должна существовать гармония во всех вещах, включая человеческие общества. И это привело многих анархистов к повторению, что «анархия есть естественный порядок» – фраза с изысканно кропоткинским привкусом.

Казалось, он забыл, что он интернационалист, социалист и анархист, забыл то, что сам написал незадолго до войны о том, что капиталисты готовятся к войне, и начал выражать восхищение худшими государственными деятелями и генералами Антанты, а анархистов, отказавшихся присоединиться к «Священному союзу», называл трусами, сожалея, что возраст и плохое здоровье мешают ему взять винтовку и идти против немцев. Невозможно, следовательно, с ним согласиться: для меня это был поистине патологический случай. Так или иначе, это был один из самых печальных и болезненных моментов моей жизни (и, осмелюсь предположить, также и его), когда после самых яростных дебатов мы расстались как противники, почти как враги.

Велика была моя печаль из-за потери друга и из-за вреда, нанесённого делу вследствие замешательства, созданного среди товарищей его отступничеством. Но несмотря на это всё, любовь и уважение, которые я питал к человеку, остались нетронутыми, как и надежда на то, что, когда пройдёт момент эйфории и он сам всё переосмыслит, он признает свою ошибку и вернётся в движение – вернётся прежний Кропоткин.

Кропоткин был одновременно учёным и социальным революционером. Его вдохновляли две страсти: желание знания и желание действовать на благо человечества – две благородные страсти, которые могут быть взаимно полезны и которые хотелось бы видеть во всех людях (хотя, к слову, ни то, ни другое не обязательно совмещаются в одном человеке). Но Кропоткин был личностью преимущественно систематической и хотел объяснить всё одним принципом и свести всё к единству – и часто делал это, на мой взгляд, в ущерб логике.

Так, он использовал науку для обоснования своих социальных устремлений, потому что, по его мнению, они были простыми строгими научными выводами.

У меня нет особых способностей судить Кропоткина как учёного. Я знаю, что в молодости он оказал заметные услуги географии и геологии, ценю большое значение его книги о взаимопомощи и убеждён, что с его обширной культурой и благородным умом он мог бы внести больший вклад в развитие наук, если бы его мысли и деятельность не были поглощены социальной борьбой. Однако, на мой взгляд, ему недоставало того, что делает настоящего учёного: способности забыть о стремлениях и предвзятых идеях и наблюдать факты с холодной объективностью. Он был, как я охотно скажу, поэтом науки. Благодаря оригинальной интуиции он мог предвидеть новые истины, но эти истины должны были быть проверены другими – с меньшим воображением или вовсе без него, но лучше одаренным тем, что называют научным умом. Кропоткин был слишком страстным, чтобы быть точным наблюдателем.

Его обычный метод состоял в том, чтобы начать с гипотезы и затем искать факты, её подтверждающие, – что может быть хорошим методом для открытия нового, но что приводило к тому – и невольно, – что он не видел фактов, опровергающих его гипотезу.

Он не осмеливался допустить факт и часто даже не рассматривал его, если не мог сначала его объяснить, то есть вписать в свою систему.

В качестве примера приведу эпизод, в котором я сыграл свою роль:

Когда я был в аргентинской Пампе (в 1885–1889 годах), я прочитал кое-что об экспериментах с гипнозом школы Нанси, что было для меня ново. Я очень заинтересовался темой, но не имел тогда возможности узнать больше. Вернувшись в Европу, я увидел Кропоткина в Лондоне и

анархизм, которого он желал, неизбежно должен восторжествовать, как бы по закону природы. И это освободило его от всяких сомнений и устранило все трудности с его пути. Буржуазный мир был обречён рухнуть, уже пора, и революционное действие лишь служило ускорению процесса.

Его большое влияние как пропагандиста, а также влияние, производное от его большого таланта, основывалось на том, что он показывал вещи очень простыми, столь лёгкими, столь неизбежными, что те, кто слушал его или читал его статьи, немедленно воспламенялись энтузиазмом.

Моральные проблемы исчезали, потому что он приписывал «народу», трудящимся массам, великие способности и все добродетели. Он справедливо восхвалял моральное влияние труда, но недостаточно ясно видел угнетающие эффекты нищеты, развращения и подчинения. И он думал, что будет достаточно уничтожить привилегии капиталистов и власть правителей, чтобы все люди немедленно начали любить друг друга как братья и заботиться об интересах других, как о своих собственных.

Точно так же он не видел материальных трудностей или просто отодвигал их на второй план. Он принял идею, в то время очень распространённую среди анархистов, что накопление запасов продовольствия и промышленных товаров столь обильно, что в течение долгого периода не будет необходимости заботиться о производстве; и всегда заявлял, что непосредственная проблема – это проблема потребления, что для триумфа революции необходимо немедленно удовлетворить потребности всех, причём в изобилии, и что производство должно следовать ритму потребления. Из этой идеи родилась идея «брать со складов», которую он популяризировал. Это, несомненно, самое простое понимание коммунизма и то, что легче всего привлекает массы, – но также и самый примитивный и са-

лах и других изданиях и жил в относительно комфортных условиях, но чувствовал своего рода угрызения совести за то, что жил лучше большинства рабочих, и, казалось, всегда хотел извиниться за те небольшие удобства, которые мог себе позволить. Он часто говорил, рассказывая о себе и о тех, кто находился в похожих обстоятельствах: *«Если мы смогли получить образование и развить свои способности, если у нас есть доступ к интеллектуальным удовольствиям и мы живём в не слишком плохих материальных условиях, то это потому, что мы воспользовались – через случайность рождения – эксплуатацией, которой подвергаются рабочие; и потому борьба за освобождение рабочих есть долг, долг, который мы должны выплатить»*.

Именно из любви к справедливости и как искупление привилегий, которыми он пользовался, он отказался от своей должности, оставил занятия, которые так любил, чтобы посвятить себя образованию рабочих Санкт-Петербурга и борьбе против деспотизма царей. Побуждаемый этими же чувствами, он позже присоединился к Интернационалу и принял анархистские идеи. Наконец, среди различных интерпретаций анархизма он выбрал и сделал своим коммунистическо-анархистскую программу, которая, будучи основана на солидарности и любви, выходит за пределы самой справедливости.

Но, как и следовало ожидать, на него влияли определённые вещи, когда он задавался вопросами о том, каким будет будущее, как оно наступит и каким путём. Поскольку для него философски всё, что происходит, происходит потому, что должно произойти, желанный триумф коммунистического анархизма также должен был быть неизбежным, как если бы речь шла о исполнении естественного закона.

Поскольку, согласно его философии, то, что происходит, необходимо должно происходить, то и коммунистический

спросил, может ли он дать мне какую-либо информацию о гипнозе. Кропоткин начисто отрицал, что в этом есть какая-то правда; что всё это фальсификация или вопрос галлюцинаций. Спустя некоторое время я снова его увидел, и разговор опять вернулся к этой теме. К моему большому удивлению, я обнаружил, что его мнение полностью изменилось: гипнотические явления стали темой, заслуживающей изучения. Что же произошло? Узнал ли он о новых фактах или нашёл убедительные доказательства того, что прежде отрицал? Нет, вовсе нет. Он просто прочитал в книге какого-то немецкого физиолога теорию о связи между двумя полушариями мозга, которая могла бы – хорошо или плохо – объяснить явления гипноза.

Ввиду такой умственной предрасположенности, позволявшей ему приспосабливать вещи по своему вкусу в вопросах чистой науки, где нет причин, по которым страсть должна помрачать ум, можно было предвидеть, что произойдёт в тех вопросах, которые близко касались его глубочайших желаний и самых дорогих надежд.

Кропоткин придерживался материалистической философии, преобладавшей среди учёных во второй половине XIX века, – философии Молешотта, Бюхнера, Фогта и других, – и, следовательно, его концепция Вселенной была строго механистической.

Согласно его системе, Воля (сила творческая, источник и природу которой мы не можем понять, как не понимаем природу и источник «материи» или любого из других «первоначал») – как я говорил, Воля, которая внесла больший или меньший вклад в определение поведения индивидов и общества, не существует и является чистой иллюзией. Всё, что было, есть и будет, – от пути звёзд до рождения и

упадка цивилизации, от аромата розы до улыбки на устах матери, от землетрясения до мыслей Ньютона, от жестокости тирана до доброты святого, – всё, что имеет, должно и хочет произойти, есть результат неизбежной последовательности причин и следствий механического происхождения, не оставляющей никакой возможности для вариаций. Иллюзия Воли сама по себе есть механический факт.

Естественно, если Воля не имеет никакой силы, если всё необходимо и не может быть иначе, то идеи свободы, справедливости и ответственности не имеют никакого смысла и никак не влияют на реальность.

Следовательно, логически всё, что мы можем делать, – это созерцать то, что происходит в мире, с безразличием, удовольствием или болью, в зависимости от личных чувств, без надежды и без возможности что-либо изменить.

Так что Кропоткин, который был очень критичен к фатализму марксистов, сам стал жертвой механистического фатализма, а он гораздо сильнее сковывает.

Но философия не могла убить мощную Волю, которая была в Кропоткине. Он был слишком глубоко убеждён в истинности своей системы, чтобы отказаться от нее или оставаться пассивным, пока другие в ней сомневаются; он был слишком страстным и слишком желал свободы и справедливости, чтобы остановиться перед трудностью логического противоречия и оставить борьбу. Он обошёл дилемму, введя анархизм в свою систему и превратив его в научную истину.

Он пытался подтвердить свою точку зрения, утверждая, что все недавние открытия во всех науках – от астрономии до биологии и социологии – совпадают, всё яснее демон-

стрируя, что анархия есть форма социальной организации, навязанная законами природы.

Можно было бы указать, что независимо от выводов, которые можно извлечь из современной науки, факт остаётся фактом: если бы новые открытия разрушили нынешние научные законы, он всё равно остался бы анархистом – вопреки науке, как был анархистом вопреки логике. Но Кропоткин не смог бы допустить возможности конфликта между наукой и своими социальными устремлениями и всегда изобретал средство – логичное или нет – примирить свою механистическую философию со своим анархизмом.

Так, сказав, что *«Анархия есть мирозозерцание, основанное на механическом понимании явлений, охватывающее всю природу, включая сюда и жизнь человеческих обществ»*¹ (признаюсь, я так и не смог понять, что это могло значить), Кропоткин забывал свою механистическую концепцию как нечто неважное и бросался в борьбу с огнём, энтузиазмом и уверенностью того, кто верит в действенность своей воли и надеется своей деятельностью добиться или способствовать достижению того, чего хочет.

В действительности анархизм и коммунизм Кропоткина были гораздо больше следствием его чувств, чем разума. В нём сначала говорило сердце, а разум следовал за ним, чтобы оправдать и укрепить его импульсы.

Тем, что составляло истинную сущность его характера, была его любовь к человечеству, сочувствие, которое он испытывал к бедным и угнетённым. Он поистине страдал за других и находил несправедливость невыносимой, даже если она действовала в его пользу.

В то время, когда я часто бывал с ним в Лондоне, он зарабатывал на жизнь сотрудничеством в научных журна-

¹ Кропоткин, *«Современная наука и Анархия»*, «VIII. Положение учения об Анархии в современной науке».